

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

МАКС
ШТИРНЕР

ЭТИКА
ЭГОИЗМА



«НЕТ НИЧЕГО
ВЫШЕ МЕНЯ»

ФРИДРИХ
НИЦШЕ

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Макс Штирнер
Фридрих Вильгельм Ницше
Этика эгоизма. «Нет
ничего выше меня»
Серия «Философский поединок»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57333505
Этика эгоизма. «Нет ничего выше меня» / М. Штирнер, Ф Ницше:
Родина; Москва; 2020
ISBN 978-5-907332-69-0

Аннотация

Макс Штирнер (настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт) – немецкий философ (1806–1856), предвосхитивший идеи нигилизма, экзистенциализма и постмодернизма. Одной из основополагающих идей Штирнера был этический эгоизм. «Мы живем в мире, полном призраков и одержимых, – писал Штирнер. – Везде и всюду нам стремятся доказать, что смысл и цель нашего существования лежат где-то вне нас. Что просто необходимо найти этот смысл и пожертвовать своими интересами ради воплощения этой цели. Не проще ли, не лучше ли, не выгоднее ли, наконец, отбросив жадные идеалы, строить свое дело на себе самом?».

Многое из того, о чем говорил Фридрих Ницше (1844–1900), было взято из Штирнера. Согласно Ницше, существуют два вида морали: «мораль рабов» и «мораль господ». Мораль господ воплощает самоуважение, индивидуализм и свободу, присущие людям со здоровым эго.

В книге представлены произведения Штирнера и Ницше, дающие представление об их взглядах.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Макс Штирнер	7
Предисловие	7
Свободное предположение	10
Государство и собственная воля	17
О свободе печати	26
Общество и свобода	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

**Макс Штирнер (Max
Stirner) и Фридрих Ницше
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)**

**Этика эгоизма. «Нет
ничего выше меня»**

МАКС ШТИРНЕР

ЭТИКА
ЭГОИЗМА

«НЕТ НИЧЕГО
ВЫШЕ МЕНЯ»

ФРИДРИХ
НИЦШЕ

© Перевод с немецкого Б. Гиммельфарба и М. Гохшиллера, Н. Полилова, Ю. Антоновского и других

© ООО «Издательство Родина», 2020

Макс Штирнер

«Нет ничего выше меня»

(из книги «Единственный и его собственность»)

Предисловие

Чего-чего только я не должен считать своим делом. Во-первых, дело добра, затем дело Божие, интересы человечества, истину, свободу, гуманность, справедливость, а далее — дело моего народа, моего государя, моей родины. Но только мое не должно стать моим делом. «Стыдно быть эгоистом, который думает только о себе».

Нет надобности показывать на примере любого дела, которое нам хотят навязать, что всякий раз речь идет о чужом, а не о нашем благе. Взгляните на все. Чего требуют истина, свобода, гуманность, справедливость, как не того, чтобы вы воспламенялись ими и служили им?

Конечно, отлично, если есть преданные слуги. Взгляните, например, на народ, который охраняют преданные патриоты. Патриоты падают в кровавой битве или в борьбе с голодом и нуждой, но какое дело до этого народу? Их трупы удобряют

почву для «цветущего народа». Отдельные личности умерли «для великого дела народного», народ поминает их несколькими словами благодарности, и – вся выгода на его стороне. Вот это доходный эгоизм.

Но взгляните-ка на султана, который так любвеобильно печется о «своих». Разве он не само бескорыстие, разве он ежечасно не приносит себя в жертву «своим»? Да, именно «своим». Попробуй-ка стать не его собственностью, а «своим»; за то, что ты уклонился от его эгоизма, ты легко попадешь в темницу. Султан построил свое дело не на чем другом, как на себе: он для себя – все во всем; он – единственный и не потерпит никого, кто отважился бы не быть его собственностью.

Неужели же эти блестящие примеры недостаточно доказали вам, что лучше всего живет эгоистам? Что касается меня, то я научен и, вместо того чтобы и далее бескорыстно служить великим эгоистам, лучше сам стану эгоистом.

Бог и человечество поставили свое дело не на чем ином, как на себе. Поставлю же и я мое дело только на себе, ибо я, так же как Бог, – ничто всего другого, так как я – мое «все», так как я – единственный.

Если Бог, если человечество, как вы уверяете, имеют достаточно содержания в себе, чтобы быть всем во всем, то и я чувствую, что мне еще менее будет недоставать содержания, что мне не придется жаловаться на «пустоту». Я ничто не в смысле пустоты: я творческое ничто, то, из которого я сам

как творец все создам.

Долой же все, что не составляет вполне Моего! Для Меня нет ничего выше Меня.

Свободное предположение

Если ты слишком много вообразил и рисуешь себе идеал, манящий тебя, значит, у тебя в голове «нечисто»: ты рехнулся! У тебя навязчивая идея.

Не думай, что я шучу или говорю образно, если всех цепляющихся за что-нибудь высшее – а к таковым принадлежит огромное большинство людей, почти все человечество, – считаю настоящими сумасшедшими, пациентами больницы для умалишенных.

Что называют «навязчивой идеей»? Идею, которая подчинила себе человека. Убедившись, что овладевшая человеком идея безумна, вы запираете ее раба в сумасшедший дом. Но величие народа, например догмат веры, в котором не дозволено усомниться (кто это делает, тот совершает оскорбление величия), или добродетель, против которой цензура не пропустит ни слова, чтобы сохранить в чистоте нравственность, – разве все это не «навязчивые идеи»? Все это – сумасшедшие, и нам только кажется, что они ходят на свободе, ибо дом умалишенных, в котором они разгуливают, чрезвычайно велик.

Затроньте только навязчивую идею такого безумца, и вы испугаетесь его коварства. Ибо это большие безумцы и в том сходны с маленькими, с теми, кого называют сумасшедшими, что они коварно нападают на всякого, кто коснется их

идеи. Они сначала отнимают у него свободу слова, а затем вцепляются в него когтями. Каждый день раскрывает трусость и мстительность этих сумасшедших, а глупый народ восторженно приветствует их безумные распоряжения. Нужно почитать газеты наших дней, чтобы с ужасом убедиться, что мы заперты в одном доме с умалишенными.

С точки зрения нравственности рассуждают приблизительно так: человека влечет или его чувственность, и тогда, следуя ей, он становится безнравственным, или же добро, которое, будучи воспринято волей, называется нравственным убеждением (расположение или влечение к добру); в последнем случае его образ действия нравственный.

* * *

Так, значит, вы признаете, что добро – не что иное, как закон, а нравственность – не что иное, как лояльность? Ваша нравственность должна была опуститься до такой крайней «лояльности», до такого ханжеского преклонения перед законностью. Но оно, сверх того, и более тираническое, и более возмутительное, чем прежнее ханжество. Ибо прежде требовался только поступок, теперь же для вас важен и образ мыслей; вы считаете, что закон нужно носить в себе и что наиболее приверженный велениям закона – и наиболее нравственный – человек.

Почему оппозиция не достигает в иных случаях никаких

результатов? Это бывает тогда, когда она не желает покинуть путь нравственности или законности. Отсюда безграничное притворство; при виде его можно ежечасно испытывать самое сильное отвращение к испорченности и лицемерию отношений «законной оппозиции».

В нравственном отношении не может иметь места раздвоенная, противоречивая воля; добрые отношения разрушены, если один желает одного, другой – другого. Но, следуя теперешней практике и старому предрассудку оппозиции, прежде всего необходимо сохранить нравственное отношение. Что же остается тогда оппозиции? Домогаться свободы, если возлюбленный находит нужным ей отказать? Во-все нет! Домогаться свободы она не должна: она может лишь хотеть, «ходатайствовать» о ней, бормотать: «Пожалуйста, пожалуйста...»

Что же вышло бы из того, если бы оппозиция действительно домогалась бы, желала бы с полной энергией воли? Нет, она должна отказаться от воли, от свободы – ради нравственности. Она никогда не должна «требовать как права» того, что ей позволено только «просить как милости».

Любовь, преклонение и т. д. требуют с непреодолимой определенностью, чтобы была одна только воля, которой бы покорились все остальные, которой бы они служили, следовали, которую бы любили. Считается ли эта воля разумной или безрассудной – в обоих случаях поступают нравственно, следуя ей, и безнравственно, уклоняясь от нее.

Воля, которую проявляет цензура, кажется многим безрассудной, кто, однако, в стране, где есть цензура, не предъявляет ей свою книгу, тот поступает безнравственно, а кто предъявляет – нравственно. Если бы кто-нибудь отрекся от нравственных устоев и устроил тайную типографию, например, то такого человека следовало бы, значит, назвать безнравственным и, кроме того, глупым, если его накроют. Но будет ли такой человек считать, что он имеет некоторую ценность в глазах «нравственного»? Быть может, если бы он вообразил, что служит какой-нибудь «высшей нравственности».

Ткань современного притворства и лицемерия раскинута меж двух областей, между которыми колеблется наше время, и плетет свои тонкие нити обмана и самообмана. Не будучи достаточно сильным, чтобы определенно и неослабно служить нравственности, и еще недостаточно беспощадным, чтобы жить совершенно эгоистически, дрожит человек в паутине притворства, склоняясь то к одному, то к другому, и ловит, ослабленный проклятием половинчатости, только глупых, жалких мошек.

Если уже осмеливаются сделать «свободное» предложение, то моментально разбавляют его водицей уверений в любви и притворным смирением; если же, с другой стороны, имеют достаточно твердости, чтобы отразить «свободное» предложение нравственности доводами, основанными на доверии, то сейчас же нравственное мужество ослабевает,

и начинают уверять, что свободные слова доставили наслаждение, короче, рассыпаются в притворных уверениях. Словом, желательно иметь одно, но не упускать и другое, хотелось бы иметь свободную волю, но не уклоняться от нравственности.

Сходитесь же вы, либералы, с кем-нибудь из раболепствующих! Вы будете подслащивать каждое слово умильным взором лояльнейшего доверия, а он будет облекать свое низкоклонство в самые льстивые фразы свободы.

«Но нельзя же ставить негодяя на одну доску с честным человеком». Никто, однако, не делает этого чаще вас, судьи нравственности. Более того: честного человека, открыто выступающего против существующего государственного строя, против освященных институтов, вы запираете в тюрьму как преступника, а продувному плуту вручаете министерский портфель и многое еще более важное...

А кого хотят высвободить обыкновенные либеральные господа? За чью свободу они ратуют? За свободу духа! Духа нравственности, законности, благочестия, богобоязни. Этого хотят и антилибералы, и весь спор между обеими сторонами вертится вокруг того, будут ли иметь решающее слово только последние или же и первые получают «соучастие в тех же благах».

Лучшее во всем этом то, что можно спокойно наблюдать эту борьбу с уверенностью, что дикие звери истории так же сами разорвут друг друга, как дикие звери природы, тлею-

щие трупы их удобряют почву... для наших плодов.

* * *

Никакая эгоистическая власть, никакая полицейская сила не должны выступать против мыслей. Так полагают верующие в мысль. Но мышление и мысли для меня не святы, я оберегаю и от них свою шкуру. Быть может, это неразумная оборона, но если я служу разуму, то должен, как Авраам, принести ему в жертву самое любимое.

В царстве мысли, которая, как и царство веры, и есть небесное царство, неправ всякий, кто пользуется бессмысленной силой, так же как не прав всякий, кто в области любви действует бессердечно, или, хотя он и христианин, то есть живет в царстве любви, все же действует не по-христиански; в этих царствах, обитателем которых он себя мнит, уклоняясь в то же время от их законов, он «грешник», или «эгоист». Но и он может лишь тем уклониться от власти этих царств, что станет преступником относительно них.

Результат и здесь тот, что борьба мыслящих против правительства настолько права, насколько она ведется против мыслей правительства (правительство умолкает и не может возразить литературно ничего значительного), и напротив, она неправа и бессильна, поскольку в ней действуют только мысли, направленные против личной власти. (Эгоистическая сила зажимает рот мыслящим.)

Теоретическая борьба не может завершить победу, и священная сила мысли подвластна силе эгоизма. Только эгоистическая борьба, борьба эгоистов с двух сторон все улаживает.

Вот это дело – превращение самого мышления в эгоистический произвол, в дело отдельной личности, как бы в пустое препровождение времени, отнимая у него значение «последней решающей власти», это унижение мышления, лишение его святости, это уравнивание бессмысленного и мыслящего «я», это грубое, но реальное «равенство» – критика не может установить, потому что она сама – только жрица мышления и за его пределами видит только потоп...

Критика хотя и утверждает, например, что свободная критика должна восторжествовать над государством, но тоже защищается от упрека со стороны государственных правителей в том, что она «произвол и наглость». Она полагает, что «произвол и наглость» не должны побеждать, что побеждать может только она. На самом деле наоборот: государство может быть побеждено лишь наглым произволом.

Государство и собственная воля

Государства существуют лишь до тех пор, пока имеется господствующая воля, и эта господствующая воля считается равнозначней собственной воле. Воля властителя – закон. Что помогут тебе твои законы, если им никто не следует, что значат твои приказания, когда никто не позволяет приказывать себе? Государство не может отказаться от притязания на то, чтобы определять волю единичного лица и рассчитывать на свое воздействие на нее. Для него безусловно необходимо, чтобы никто не имел собственной воли; если кто-либо обнаружил таковую, то государство должно было бы его исключить (запереть, изгнать и т. д.); если бы все имели свою отдельную волю, то они уничтожили бы этим государство, ибо оно должно хотеть быть господином всех, кого оно в себе заключает, и эту волю называют «государственной волей».

Кто для того, чтобы существовать, должен рассчитывать на безволие других, тот – игрушка в руках этих других, как господин – игрушка в руках своего слуги. Если прекратится покорность, то неминуемо уничтожится и господство.

Моя собственная воля – губитель государства, поэтому оно клеймит ее как «своеволие». Собственная воля и государство – смертельно враждебные силы, между которыми невозможен «вечный мир». Пока государство утверждает себя, оно представляет собственную волю каждого отдельного

лица, своего постоянно враждующего противника, как нечто неразумное, зловердное и т. д., и единичная воля поддается внушению и считает себя зловердной – да, она действительно такова уже потому, что позволяет себе это внушать, она еще не осознала своего собственного достоинства – и поэтому еще несовершенна, и ее можно опутать словами.

Всякое государство – деспотия, независимо от того, существует ли один деспот или их много, как в республике все властвуют, то есть один властвует над другим. Это происходит в том случае, если каждый данный закон, как выражение мнения и воли собрания, становится законом для единичного лица, которому он обязан повиноваться или по отношению к которому у него есть обязанность послушания. Если даже предположить тот случай, что каждый единичный человек в народе изъявил бы ту самую волю, и если таким образом осуществилась бы полная «всеобщая воля», дело несколько не изменилось бы.

Разве моя воля, проявленная вчера, не связывала бы меня сегодня и позже? В этом случае моя воля застыла бы. Что может быть хуже постоянства? Мое создание, то есть какое-нибудь определенное выражение моей воли, стало бы моим повелителем. Я же, создатель, был бы стеснен в своей воле. А то, что я вчера был глупцом, я должен был бы оставаться им всю жизнь. Так в сфере государственной жизни я в лучшем случае становлюсь рабом самого себя. Потому, что я вчера обладал волей, я сегодня безволен, вчера самоволен, а сего-

дня несвободен.

Как это изменить? Только тем, что я не признаю никакой обязанности, то есть не свяжу себя или не позволю себя связывать. Если я не имею обязанностей, то и не знаю закона.

«Однако меня будут связывать!» Мою волю никто не может связать, и мое противодействие остается свободным.

«Но все пошло бы вверх дном, если бы каждый мог делать все, что он хочет!» Кто же говорит, что каждый может все делать? На то ты и существуешь, чтобы не допускать по отношению к себе всего, что угодно! Оберегай себя, и никто ничего тебе не сделает! Тот, кто хочет сломить твою волю, имеет дело с тобой: он – твой враг. Действуй против него как против такового. Если же за тобой стоят миллионы, то вы являетесь внушительной силой и одержите легкую победу. Но если вы и будете внушать уважение врагу как сила, однако же святыней, авторитетом вы оттого в его глазах не станете, если только он не жалкий трус. Почитать и уважать вас он несколько не обязан, хотя и будет опасаться вашей силы.

* * *

Обычно государства классифицируют сообразно распределению в них высшей власти. Если она сосредоточена в одном лице – это монархия, если ею владеют все – демократия и т. д. И так все – дело в высшей власти! Власти по отношению к кому? По отношению к единичному и его «своево-

лию». Государство проявляет «власть» (насилие), единичному это не дозволено. Деятельность государства заключается в насилии; свое насилие оно называет «правом», насилие же каждой личности – «преступлением». Следовательно, преступлением называется насилие единичного лица, и только преступлением сокрушает он насилие государства, если он того мнения, что не государство выше его, а он выше государства.

Рискуя быть смешным, я мог бы дать вам благой совет не издавать законов, стесняющих мое саморазвитие, мою самодеятельность, мое самосозидание. Но я этого совета не даю. Если бы вы последовали этому совету, то были бы глупцами, я же потерял бы свою выгодную позицию. От вас я ничего не требую, ибо чего бы я ни потребовал, вы все равно будете и должны будете оставаться властными законодателями, так как ворона не может петь, а разбойник не может жить без грабежа.

Наоборот, я спрашиваю тех, которые хотят быть эгоистами: что они считают более эгоистичным – позволять, чтобы вы давали им законы и уважать эти, данные им законы или оказывать сопротивление и даже полное неповиновение? Добродушные люди полагают, что законы должны предписывать лишь то, что кажется народу вполне справедливым. Но что мне до того, что считается народом справедливым или правильным? Народ может быть против богохульника – и издается закон против богохульства. Из-за этого

мне не богохульствовать? Разве этот закон может быть для меня больше, чем «приказание»? – спрашиваю я.

Все правительственные мудрецы исходят исключительно из того основоположения, что все право и вся власть принадлежат совокупности народа; никто из них не забывает ссылаться на совокупность, и деспот, так же как президент или всякого рода аристократическое правительство, действует и повелевает «именем государства». В их руках «государственная власть», совершенно безразлично, проявляет ли это государственное насилие народ как совокупность единичных лиц или только представители этой совокупности, многие, как при аристократическом строе, или один, как в монархиях. Всегда совокупность первенствует над единичным лицом и имеет силу, которая называется законной, то есть которая становится правом.

По отношению к святости государства единичное лицо – лишь сосуд бесчестия, в котором, как только он не признает святости государства, ничего не остается, кроме гордыни, злонамеренности, страсти к издевательствам, легкомыслия и т. д. Священствующая надменность государственных слуг и подданных изобрела превосходные наказания против мирской «гордыни».

Умеренные либералы, в противоположность правительству, считающему, что всякая игра духа против государства наказуема, полагают, что нужно предоставить полную свободу действия капризу, сатире, юмору и т. д. и что гению нель-

зя указывать границ. Следовательно, если и не единичный человек, то по крайней мере гений должен быть свободен. Государство же или от его имени правительство вполне правильно говорит: кто не за меня, тот против меня. Остроумие, сатира и т. д., или, иначе говоря, изображение государственности в комическом виде, издавна подтачивало государство: оно не «невинно». И далее: где граница между преступной и невинной остротой?

При этом вопросе умеренные приходят в сильное смущение, и все сводится к просьбе, чтобы государство (правительство) не было так чувствительно, так обидчиво. Пусть оно не подозревает в «невинных» шутках злонамеренности, и вообще пусть оно будет немного более «терпимо». Преувеличенная чувствительность является, конечно, слабостью, и не обнаруживать ее, может быть, действительно похвально, но в военное время нельзя щадить чувства противников, и то, что может быть допущено в спокойных обстоятельствах, уже не разрешается после объявления осадного положения.

Так как благомыслящие либералы это отлично чувствуют, то они торопятся заявить, что при «покорности народа» никакой опасности не предвидится. Но правительство слишком умно, чтобы поддаться таким уверениям. Оно отлично знает, что все это только красивые слова, и потому не удовлетворится подобными «показными блюдами».

Людам, однако, нужно место для игры, ибо они ведь дети и не могут вести себя как солидные старики: «молодо-зеле-

но».

Только о возможности поиграть и порезвиться и хлопочут люди, только этого домогаются. Требуют только, чтобы государство не брюзжало, как ворчливый папаша. Пусть оно лишь разрешит несколько ослиных процессий и балаганных представлений, какие разрешала даже церковь в Средние века. Но те времена, когда оно могло разрешать это без всякой опасности, миновали. Теперь дети, раз вырвавшись на волю и проведя хоть один час без розги, уже более не желают возвращаться в свои кельи, ибо теперь свобода не добавление к «казематной» жизни, не только освежающее отдохновение, свобода обратилась сейчас в противоположность всякому затворничеству.

Словом, государство теперь должно или ничего не допускать, или допустить все — и погибнуть, оно должно быть или очень чувствительным, или бесчувственным, как мертвец. Терпимость уже невозможна. Стоит государству дать палец, как тотчас же возьмут всю руку.

Тут уж не до «шутки»; и всякое шутовство, легкомысленное остроумие, юмор и т. д. превращаются в нечто весьма серьезное.

* * *

Государство допускает, чтобы граждане играли в свободу, но серьезно помышлять о свободе не разрешается: нель-

зя забывать о государстве. Человеку не дозволяется свободно общаться с другими людьми, вне «верховного надзора и посредничества». Я не смею делать все, что могу, я должен делать только то, что дозволяет государство, не смею осуществлять мои мысли, мою работу, вообще ничего моего.

Государство всегда занято тем, чтобы ограничивать, обуздывать, связывать, подчинять себе отдельного человека, делать его «подданным» чего-нибудь всеобщего. Оно может существовать лишь до тех пор, пока отдельный человек не станет всем во всем, оно – лишь ясно выраженная ограниченность моего я, мое ограничение, моя зависимость, мое порабощение. Никакое государство не стремится развить свободную деятельность отдельных людей – оно способствует лишь такой деятельности, которая связана с государственной целью. При посредстве государства не осуществляется также ничего совместного, как нельзя было бы, например, назвать ткань общей работой всех отдельных частей машины; наоборот, это – продукт работы целой машины как единицы, машинная работа.

Приблизительно так же действует и государственная машина: она приводит в движение колесики отдельных умов, ни один из которых не следует собственному побуждению. Всякую свободную деятельность государство старается затормозить и подавить своей цензурой, своим надзором, своей полицией, считая своим долгом так поступать, и таков действительно его долг – долг самосохранения.

Государство хочет непременно что-то сделать из людей, и потому в нем живут только сделанные люди; всякий, кто хочет быть самим собой, — враг государства и ставится им ни во что.

О свободе печати

Надо сказать и о свободе печати. Все плачутся на ее отсутствие – от чего, однако, следует освободить печать? Конечно, от какой-нибудь зависимости, закрепощения, прислужничества! Но освободиться от этого – дело каждого отдельного человека, и можно с уверенностью сказать, что если ты освободился от прислужничества, то и все, что ты сочинил и написал, будет принадлежать тебе, будет твоей собственностью, и тебе не придется ни думать, ни писать, как слуге какой-нибудь власти. Разве может верующий христианин высказать или напечатать нечто более свободное от христианской веры, чем он сам? Если я не могу или не смею написать что-нибудь, то, быть может, ближайшая вина лежит на мне. Как бы далеко это ни было на первый взгляд от истинной причины, все-таки так оно оказывается в действительности. Я допускаю, чтобы закон о печати провел границу, переступить которую мне не разрешается в моих писаниях под страхом наказания. Я сам, следовательно, ограничиваю себя.

Для того чтобы печать действительно была свободна, нужно было бы раньше всего освободить ее от насилия над ней именем закона. И для этого необходимо, чтобы я сам отрешился от повиновения закону.

Конечно, абсолютная свобода печати, как и всякая абсолютная свобода, – бессмыслица. Ее можно освободить от

очень многого — но все-таки лишь от того, от чего и я сам свободен. Если мы освободимся от святого и станем нечестивыми и незаконными, то и наши слова сделаются такими же.

Так как мы не можем освободиться от всякого гнета, то и наши писания не могут быть вполне свободны. Но мы можем сделать печать такой же свободной, как мы сами.

Она, следовательно, должна сделаться нашей собственностью, вместо того чтобы, как до сих пор, служить призраку.

При криках о свободе печати не вполне ясно понимают, чего хотят. Требуют, казалось бы, чтобы государство дало свободу, но в действительности, сами того не зная, хотят, чтобы печать освободилась от государства. Первое — петиция к государству, второе — возмущение против него. В противном случае, в виде ли просьбы о праве или даже в виде серьезного требования прав на свободу печати, государство рассматривается как дарующее, и тогда можно надеяться лишь на дар, допущение, пожалование. Конечно, возможно, что государство поступит безрассудно и пожалует требуемый дар, но можно побиться об заклад, что одаренные не сумеют воспользоваться даром, пока будут видеть в государстве истину: они не оскорбят эту «святиню» и призовут на помощь против всякого, кто осмелится это сделать, кару закона о печати.

Одним словом, печать не может быть освобождена от того, от чего я не освобожден.

Значит ли это, что я – противник свободы печати? Наоборот, я только утверждаю, что ее – свободу печати – никогда не получают, если ее будут домогаться, то есть если будут домогаться только неограниченного позволения. Молите, как нищие, чтобы вам дали это соизволение, все равно вы никогда его не дождетесь, ибо никто на свете не может вам его дать. Пока вы ждете соизволения на пользование печатью, то есть свободы печати, которую вам должны «дать», до тех пор вы предаетесь пустым надеждам и жалобам.

«Бессмыслица! Ты, высказывающий такие мысли в этой книге, сам можешь ее опубликовать только благодаря счастливой случайности или же какими-нибудь окольными путями; и все-таки ты борешься против того, чтобы до тех пор домогаться от государства дарования свободы, пока оно ее не даст?»

На такой вопрос писатель, быть может, ответил бы так (ибо дерзость таких людей доходит далеко): «Вникните в ваши слова! Что я делаю, чтобы добиться свободы печати для моей книги? Разве я испрашиваю позволения, а не действую как раз наоборот, то есть, не справляясь о законности, ищу удобного случая и пользуюсь им, абсолютно не обращая внимания на государство и его желания?

Я не могу не произнести этого страшного слова – я обма-

нываю государство. И вы бессознательно делаете то же самое. Вы уговариваете государство с высоты ваших трибун, что оно должно уничтожить свою святость и неприкосновенность, подвергнуть себя нападкам писателей, и доказываете ему, что это не опасно. Но вы обманываете его: оно погибнет, если утратит свою неприкосновенность. Вам, конечно, государство могло бы дать свободу печати, как дала ее уже Англия: вы веруете в государство и не можете писать против государства, что бы вы ни говорили о необходимости реформ, об исправлении недостатков государственного строя.

Но что, если свободой слова воспользуется противник государства и объявит непримиримую войну церкви, государству, обычаям и всему «святому»? Вы бы стали раскаиваться – слишком поздно – в своей глупости, побудившей вас ходатайствовать за свободу печати перед государством или государственным правительством. Я же доказываю своим действием следующее.

Во-первых, то, что свобода печати всегда непосредственно связана с «благоприятными случаями» и, следовательно, печать никогда не будет абсолютно свободна; во-вторых, то, что, кто хочет пользоваться ею, тот должен найти этот благоприятный случай и, где возможно, создать его, утверждая, наперекор государству, свою собственную выгоду и считая себя и свою волю выше воли государства и всякой иной «высшей власти». Не в государстве, а единственно наперекор государству может быть проведена свобода печати, и если она

будет осуществлена, то не вследствие просьб, а как акт возмущения.

Всякая просьба и всякое ходатайство о свободе печати уже – сознательно или бессознательно – возмущение, и только филистерская половинчатость не хочет и не может в этом признаться себе, пока, к ужасу своему, не убедится в этом ясно и неопровержимо, увидав последствия. Испрошенная свобода печати кажется, конечно, вначале дружелюбной и благомыслящей, так как ей и в голову не приходит дойти до «дерзости»; постепенно, однако, сердце ее черствеет и приходит к убеждению, что все-таки свобода не есть свобода, если она остается на службе у государства, обычая или закона. Хоть она свободна от цензурного гнета, но все-таки еще не свободна от гнета закона.

Охваченная жаждой полной свободы, она неизбежно требует все большего и большего, пока не настанет момент, когда писатель говорит себе, наконец, следующее: я только тогда совершенно свободен, когда не должен справляться ни о чем; писательство только тогда свободно, когда оно мое собственное, когда никакая власть или авторитет, никакое верование, никакая боязнь не управляют мной; печать не только должна быть свободной – это слишком мало, – она должна сделаться моей собственной: печать должна сделаться моей собственностью – вот чего я хочу добиться».



«Но ведь свобода печати есть только дозволение печатать, а государство не позволит мне и не может мне позволить добровольно, чтобы я разрушил его посредством печати».

«Итак, вот как можно формулировать вышесказанное. Устранив недоразумения, вызванные неточным выражением: “свобода печати”. Свобода печати, которую требуют либералы, конечно, возможна в государстве; даже более того – она возможна только в государстве, ибо она есть дозволение, а, следовательно, необходимо, чтобы был тот, кто дозволяет, то есть государство. Но, будучи только дозволением, она должна иметь свои пределы – и именно в самом государстве; оно, конечно, будет дозволять лишь то, что не вредит ему как государству, и эти пределы будут определены в виде закона, обозначающего сущность и объем свободы печати. Что при этом одно государство дает большую свободу, чем другое, является лишь количественной разницей, но только она и интересует политических либералов».

Свобода печати, которой так добиваются, – дело народа, и прежде чем народ (государство) ею не будет обладать, до тех пор и я не могу ею воспользоваться. Но с точки зрения свободы печати как собственности моего я дело обстоит иначе. Если мой народ согласен обойтись без свободы печати, я все же возьму ее себе силой или хитростью: чтобы напечатать

что-либо, я испрошу себе дозволения у... себя и у моей силы.

«Если печать — моя собственность, то мне так же мало нужно обращаться для напечатания чего-нибудь за разрешением к государству, как и для того, чтобы высморкаться. С того мгновения, как я для себя выше всего, с того мгновения и печать становится моей собственностью, ибо с этого мгновения прекращается значение государства, церкви, народа, общества и т. д., и только презрению, которое я питал к самому себе, обязаны они своим существованием, а с исчезновением его исчезают и они сами: они существуют лишь тогда, когда стоят надо мной, они существуют лишь как власть и могущество. Или, быть может, вы допускаете, что возможно государство, все обитатели которого не ставили бы его ни во что?»

«Печать принадлежит мне тогда, когда я сам принадлежу только себе, когда я собственник самого себя: эгоисту принадлежит весь мир, ибо эгоист не принадлежит и не подчиняется никакой власти в мире».

«При этом, однако, моя печать может еще не быть свободной, как, например, в данный момент. Но мир велик, и нужно уметь пробиваться в нем, как возможно. Если бы я хотел отказаться от печати как моей собственности, то я мог бы очень легко достигнуть, чтобы всюду печатали все, что ни напишет моя рука. Но я хочу утвердить мою собственность, и потому непременно должен отбиваться от своих вра-

гов. “Но принял ли бы ты их разрешение, если бы оно было тебе дано?” Конечно, с удовольствием: их разрешение было бы доказательством, что я их обманул и повел на путь гибели. Мне важно не их разрешение – важны их глупость и поражение. Я не хлопочу об их разрешении, уговаривая себя, подобно политическим либералам, что мы можем ужиться один подле другого, более того, что мы якобы можем поддерживать друг друга, – нет, я добиваюсь того, чтобы они истекли кровью, дав мне разрешение, чтобы наконец исчезли дающие разрешения. Я поступаю, конечно, как сознательный враг, я пользуюсь своими преимуществами и пользуюсь их опрометчивостью».

«Только тогда печать принадлежит мне, когда я не признаю, прибегая к ее услугам, иных судей, кроме себя самого, то есть когда в моей писательской деятельности я не подчиняюсь ни нравственности, ни религии, ни уважению к законам государства и т. п., а исключительно себе самому и своему эгоизму!»

Что можете вы возразить тому, кто дает вам такой дерзкий ответ? Но, быть может, было бы лучше поставить вопрос следующим образом: кому принадлежит печать – народу (государству) или мне? Политики стремятся лишь освободить печать от личных и произвольных вмешательств власть имущих и забывают, что, для того чтобы печать была действительно открыта для всех, она должна освободиться и от гнета законов, то есть от народной воли (государственной воли).

Они хотят обратить ее в «дело народа».

Но, сделавшись собственностью народа, она еще далеко не моя собственность: наоборот, ее свобода продолжает в этих условиях быть для меня дозволением. Народ играет роль судьи над моими мыслями, и я ответствен за них перед ним. Но и присяжные, если задеть их укоренившиеся понятия, так же жестки и упрямы, как и самые непреклонные деспоты и раболепные их слуги.

Общество и свобода

Если мы стремимся освободить мир от того, что делает его несвободным, то мы хотим этого не ради него, а ради нас самих, ибо мы не искупители мира по профессии. Мы хотим, чтобы он сделался нашей собственностью, мы хотим, чтобы он не был в крепостной зависимости ни от Бога (церкви), ни от закона (государства), а стал нашей собственностью. Поэтому мы стараемся захватить его и хотим остановить действие той силы, которую он обращает против нас, тем, что мы идем ей навстречу и, когда она нам принадлежит, «предаемся» ей. Когда мир наш, то он употребляет уже силу не против нас, а для нас. Мой эгоизм заинтересован в освобождении мира, потому что освобожденный мир станет моей собственностью.

Первобытное состояние человека не обособленность или одиночество, а общественность. Наше существование начинается теснейшей связью, ибо еще до того, как дышим, мы уже живем в утробе матери: едва увидев свет, мы опять на груди человека, его любовь укачивает нас, ведет на помочах и связывает нас с собой тысячью уз. Общество – наше природное состояние. Поэтому чем более мы познаем себя самих, тем более разрушается эта теснейшая до того связь, и разложение первоначального общества делается все более явным. Если мать хочет, чтобы ребенок, которого она выно-

сила, был подле нее, она должна пойти за ним на улицу, где он играет со своими товарищами. Ребенок предпочитает общение с подобными ему обществом, в которое он, быть может, не вошел даже, а в котором только родился.

Разложение общества есть общение, союз или ассоциация. Конечно, и из союза может возникнуть общество, но только так, как из мысли рождается навязчивая идея: это происходит тогда, когда мысль лишается энергии мышления, этого непрерывного уничтожения всех застывающих мыслей. Если союз выкристаллизовался в общество, то он перестал быть ассоциацией, ибо ассоциация есть непрерывное соединение; он остановился в своем течении, выродился в нечто окаменелое, он мертв, как союз, труп союза или ассоциации, то есть он – общество, община. Наиболее ясным примером служит партия.

Что какое-нибудь общество, например государство, ограничивает мою свободу, это меня мало возмущает. Ибо все равно меня ограничивают всякого рода власти, каждый более сильный, даже каждый мой сосед, и будь я самодержец всей России, – все-таки не пользовался бы абсолютной свободой. Но особенность свою я не отдам, а именно эту особенность хочет похитить всякое общество, именно она и должна подчиниться его власти.

Хотя общество, к которому я принадлежу, отнимает у меня многие свободы, но зато оно дает мне другие свободы. Нет беды и в том, что я сам себя лишаю той или иной свободы

(например, посредством заключения контракта). Но зато я ревниво буду следить за моей особенностью. Каждая община в зависимости от власти, которой она располагает, имеет более или менее ясно выраженную склонность стать для своих членов авторитетом и оставить им пределы: она требует и должна требовать, чтобы они были в известных пределах ее «подданными», она существует только благодаря их подданству.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.